

ОС
ТР
БИ
Е

А н н а П а в л о в а

Ос- т- р- ы- е

альпина
ПРОЗА

Москва, 2025

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44
П12

Редактор Аглая Топорова

Павлова А.

П12 Острые : [рассказы] / Анна Павлова. — М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 206 с.

ISBN 978-5-00223-457-8

Герои Анны Павловой блуждают в лабиринтах иллюзий, душевных терзаний и травм. Они расцвечивают реальность затейливыми фантазиями, борются с детскими обидами, личными демонами, чужими и своими темными сторонами. Идти на свет им помогает психиатр Гера Гранкин, осознающий, что и его жизнь полна страхов, сомнений и нереализованных желаний. Общаясь с пациентами, Гранкин учится понимать и принимать себя, но путь его тоже непрост.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

© А. Павлова, 2025
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

ISBN 978-5-00223-457-8

АДУШКО

Чашка разбилась. Мама поставила на край стола, а Ада смахнула по рассеянности — и чашка разбилась. Печально взвизгнула, ударяясь о пол. Царапнула осколком ладонь.

— Адушка, не лезь, я уберу сейчас. Кузьма, и ты не лезь, кому сказала?

Кузя весь сжался, выгнулся, обошел чайную лужу и прыгнул на подоконник.

— Я не хотела. Я же нечаянно. — Ада растерла кровь по руке, и мелкие складочки очертились красным. По линии жизни: у запястья «Спортивная», дальше «Фрунзенская», «Парк культуры», «Кропоткинская», самый центр ладони — «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд», «Лубянка» с переходом на линию ума — «Кузнецкий Мост»...

— Ничего страшного, Адушка. Подожди, сейчас тебе новый чай сделаю.

Ада слизнула кровь с ладони — больно. А если еще одна чашка разобьется — так можно и от потери крови умереть.

— Не надо. Не хочу чай.

Оставив сгорбившуюся над осколками маму, Кузю на подоконнике, недоеденную яичницу и недосмотренные новости, Ада выплеснулась на улицу как была — в скатавшемся домашнем платье, перешитом из бабушкиного парадно-выходного. Только на пороге задержали босоножки, запутавшиеся ремешками на пятке. Район встретил ее, не особенно прихорашиваясь, — с мусорной машиной у подъезда, с неубранными с асфальта бутылочными стеклышками, с мутными лужами на тротуаре. Так, приглашая хороших друзей, не убираешься в квартире, мол, бардак — это высшая степень доверия. Улица была с Адой честной, с нечищенными зубами и неубранными волосами, как с похмелья.

Ада шла к рынку — перепрыгнула оградку, сквозь детскую площадку и клумбу, по нетоптанной траве, по влажному песку, забивающемуся между пальцев.

Она пила чай каждый день уже два года. Каждое утро мама заваривала в одной и той же чашке. И сейчас — когда пальцы прилипали к ладони от подсыхающей крови — Аде казалось, что разбилась не только чашка, а в каком-то смысле вселенная. Все стало по-другому — и свет ощущался иначе, и воздух, и тело, не тремолирующее от внутреннего кипяточного жара. Только рынок остался прежним.

Ада помахала тете Ани — та всегда, морщинисто подмигнув как бы втайне, бросала в мамин

пакет большой и жилистый, как сердце, помидор — мол, Адушке, даже когда Адушке перевалило за двадцать. Мама надолго останавливалась разговаривать непонятные взрослые разговоры, и Аде оставалось продавать глаза проходящим людям, подгнившим сливам и осам, застывающим в полете над виноградом. Ада думала: а если оса попадет в пакет, он будет весить больше? а если оса в пакете взлетит? Тете Ани на лицо падал синеватый отсвет растянутой над прилавками плащовки, и седина в черных волосах отливала мистическим сиянием.

— Адушка! А ты чего ж без мамы сегодня? — спросила тетя Ани, грузно переставляя ящики с ранними желтоватыми абрикосами — она почему-то всегда называла их «жерделами» и сыпала непременно в «кулек».

— А я просто! — ответила Ада. — Прогуляться решила, без мамы. Как у вас?

— Да помаленечку. Ругаться ходила сегодня с жэком-потрошителем, вторую неделю, как кроты, без света, так они мне знаешь что?..

От взрослых разговоров Ада проваливалась в транс, в неприкаянность и рассеянность. Будто не с ней говорят, будто маме — о жэках и потрошителях, мужьях и свекровях, пьющих детях и толковых парикмахершах. Ада такого не понимала — она любила говорить о Кузе, какая у него мягкая шерстка на животе, как смешно он во сне хрюкает, потому что курнос, как мама и как она сама, как ему отгрызли кусочек ушка и как его

лечили, как в прошлом году по всему двору развелось котят с таким же, как у Кузи, белым пятнышком на лбу, и мама назвала его Дон Жуаном. Еще Ада помнила гороскопы, все-все, что были в новостях, и могла кому угодно рассказать, что его сегодня ждет, как предсказательница, — только сегодня она новости не досмотрела. Ада любила «Секретные материалы», Фредди Меркьюри и стихи с новогодних открыток — а все взрослое не любила.

Она кивала, рассматривая черный загар тети Ани, не забравшийся в складки у глаз и губ, будто на раскаленной сковороде ее лицо схватилось, но внутри осталось сырым. И, как бывает иногда, если долго вглядываться в лица, — увидела что-то другое: горбинку некогда сломанного носа, вовсе тете Ани не принадлежащего, белесую сизость в ее карих глазах, крупный шлепающий рот на месте ее тонких губ, юношескую впалость там, где была здоровая полнота щек. Ада проморгалась, но новое лицо не ушло. Ей показалось, она уже видела его раньше — как будто в детстве, как будто в прошлой жизни, как будто во сне.

— До свидания, тетя Ани!

— Ну ты запомнишь? Маме передашь?

Ада кивнула и уткнулась в тонкий проем между лавками, к последнему ряду. Он особенно пах, и чем глубже в рынок, тем сильнее — не сладостью клубник и абрикосов, а томной духотой парфюма, впитавшейся пылью, капроновыми

колготками, ветхой бумагой. Там, в архипелаге барахольщиков, между виниловыми пластинками и гэдээровским фарфором уже разбирали коробки тетя Вета — маленькая, меньше самой Ады, женщина, сухая и звонкая, как Снегурочка или принцесса Диана. У Веты были чемоданы вельветовых костюмов, газовых платьев, расшитых бисером кофточек, шелковых ночных рубашек и туфель на каблучке. Мама говорила: за бесценок продает, но куда такое носить?

— Здравствуйте, тетя Вет, а платьишко мое любимое купили уже?

— Купили, Адюш. Но иди сюда, что-то покажу.

Вета распахнула коробку — и Аде показалось, что в ней, свернувшись, сидит большой мохнатый зверь.

— Ой, а кто это у вас?

— Лисица. Я как решила... Зима не скоро еще. Продам шубу, куплю дубленку, мне Тамиле обещала скидку сделать, если успею. Может, еще чего Леночке на институт останется. Примеришь?

Аде на плечи упала приятная дорогая тяжесть, запах меха, шкафа, кладбищенских хризантем и спирта, мамы, бабушки, женственности. В забрызганном зеркале отразились, как сквозь звезды, большие покатые плечи, два величественных валика воротника на груди, заменяющих как бы настоящую Адину грудь, рыжие полы до самых щиколоток.

— Красота какая!

— Ну царевна просто, — рассмеялась Вета. — Она еще теплая такая, в минус тридцать спокойно. И мошь поесть не успела. Ты у мамы-то спроси, не нужна ей шуба?

Ада покрутилась, представляя себя действительно какой-нибудь царевной. Рынок смазлся в пеструю волшебную карусель. Стало жарко, но снимать шубу ужасно не хотелось.

— А зачем вы такую красоту продаете? Я бы за такую шубу...

— Вот и я бы раньше за такую шубу. Но теперь — сама понимаешь.

Ада не понимала — Ада кивнула. Мама говорила не спрашивать Вету на больные темы. Еще говорила с жалостью, мол, царствие небесное Игорю. И иногда говорила с язвочкой: ну посмотрит хоть, как нормальные люди живут.

— Ну стой, стой, голова закружится. — Вета остановила за плечо. Приобняла, погладила по голове. — Ну красотка! Все, снимай, спаришься.

После шубы задышалось просторно и приятно, будто Ада не вдыхала, а летела. Вета встала на табуретку, чтобы повесить шубу на вешалку под потолок — или тот кусок простыни, что здесь назывался потолком. Рынок, весь затянутый сверху тканью, был похож на цирк шапито, который однажды приехал и остался навсегда.

— Еще что-то, Адюш? Ты по делам или просто?

— Я просто. Мне... дома сидеть не хотелось.

Не скажешь же прямо, что испугалась чашки. Осколков, чайного пятна на полу, звука и общего ощущения хаоса. Не скажешь же, что вселенная утром будто раскололась на несколько частей, и как теперь пить чай, как теперь жить, если из другой чашки, — непонятно.

Вета улыбнулась. Губы у нее были полные, нос с горбинкой, щеки впалые, глаза умные — у таких глаз никогда не появляется складочек от улыбки. А может, люди с умными глазами вообще как-то иначе улыбаются — Ада не знала, у нее самой не получалось давно. Черты другого, несколько минут назад увиденного у тети Ани лица снова проступили. Глаза серые — и радужка венчается темной полосой. Зубы, зубы кривые и крупные, нежно-желтые от сигарет, а еще ямочка только на левой щеке — и как Ада могла забыть?

— Пойду я, тетя Вет. До свиданья!

— Пока, Адюш. Про шубу спроси, не забудь.

Она шла через ряды, мимо барахольщиков и рукодельниц, мимо мяса и сыра, кваса и чайного гриба, впитывая кислые, сладкие, соленые запахи и неся на плечах тот самый — запах взрослости, тяжелой царственности. Рынок был ее любимым местом из тех нескольких, где она обычно оказывалась: в больнице было слишком много старух, а на бабушкиной даче — комаров, а на рынке все было славно. Он напоминал, что мироздание все-таки чаще всего постоянно и что, даже если все рассыплется, выключится,

исчезнет, — рынок останется, и тетя Ани останется, и Вета, и их помидоры с платьями.

— Ада! Тебе говорю, ну! Чего одна?

— Да так, дядь Вов. Гуляю.

Дядя Вова, по большому счету, был никакой не дядя и не Вова — ему было лет тридцать, а звали его на самом деле Вольдемар. Он ходил в большом квадратном пиджаке и в бескозырке на лысеющей голове, а на рынке продавал собственного производства самогон — по слухам, какой-то волшебный, хотя сам дядя Вова утверждал, что весь самогон волшебный.

— Поди сюда, пока мамка не видит, а? Ты, небось, и не пробовала ни разу? Да не смотри на меня так, тебе бесплатно.

Мама говорила у незнакомых ничего не брать — но какой дядя Вова был незнакомый, с таким-то горбатым носом и многозубым ртом, с таким-то скрипящим и хрипучим тенором?

Они сели за этажеркой, заставленной трехлитровыми банками и бутылками из-под «Столичной». Под Адой пошатнулась и успокоилась складная табуретка. Дядя Вова протянул пластиковый стаканчик, примятый с одной стороны и едва ли наполовину полный.

— Давай, Ада, не ссы. Лучше со мной, чем за гаражами где-то, да? Хоть попробуешь.

Раньше Ада пила только вино — один раз, когда только поступила в поварское, на пожарной лестнице между парами. С ней была одногруппница Люся — из-под майки были видны ее

белый живот с родинкой у пупка и лямки настоящего лифчика с косточками. Она красила губы и широко улыбалась светло-розовыми полосами на зубах. Люсе, парню ее Гене, какому-то Лехе и старшекурснику Тиме Ада рассказывала их гороскоп, а они чокались найденными в аудитории кружками, и все было ясно, тепло и весело — сентябрьское утро, рыжие перила, восковой вкус Люсиной помады, сама Люся, которая не переставала смеяться и попискивать, мол, не умеешь, не кусайся.

Из поварского Ада отчислилась в январе: как-то не получилось учиться. И потом поступить куда-то тоже не получилось, да и не хотелось.

Она понюхала самогон — он пах не кисло, как вино, а остро и тошнотворно, и Ада хотела было отказаться, но дядя Вова на нее смотрел, а знакомые черты, надорвав, как пакет молока, край познаваемой реальности, проступали изнутри. Ей казалось: вот-вот, сейчас, она все поймет, все вспомнит. Выпили.

— Ну как тебе?

— Отвратительно, — честно ответила Ада.

— Давай еще по одной, легче пойдет.

Дядя Вова подвинул к ней свою табуретку и налил еще. Ада все смотрела, смотрела на него — так бывает, когда забываешь, куда дела ключи или что означает крестик, начириканный ручкой на ладони, как зовут троюродного племянника или что еще нужно нарезать в салат оливье. Она выпила еще, и на колено ей

опустилась большая, опушенная тонкими волосками лапа. Поелозила по бедру.

— Мамка-то твоя, наверное, вообще жизни тебе не дает, да?

Ада не поняла, что это должно было значить: как это — жизни не дает? Поэтому она промолчала. Лапа поползла вверх, сминая некогда бабушкино платье.

— Ты, небось, и целоваться не умеешь. Давай научу, чтобы перед мальчиками не позориться.

И когда его колючее лицо мокро размазалось по ее лицу, Ада вспомнила.

«Заяц! У меня все хорошо. Ноги берцами стер, но кормят нормально, хоть похудею наконец-то. Маме привет. Скупаю по вам двоим красивым — очень! Кузю в нос от меня поцелуйте».

Его звали Гришей — он был всегда высокий, загорелый и взрослый. Говорил, что сам выдумал Аде имя. В детстве сажал себе на спину и катал по квартире, как пони. Чинил ее игрушки — «я же единственный мужчина в доме». Когда Адины вещи вытряхнули из портфеля в окно, такого леща залепил однокласснику, что чуть не загремел в детскую комнату милиции. Выпускаясь из школы, тащил Аду на плече, пусть она была уже большая и тяжелая. И она звенела, звенела, звенела колокольчиком и все думала, что отдавит Грише что-нибудь своими вечно торчащими костями.

Было в нем что-то от несуществующего папы, от вообще идеи отца, никогда Аде не понятной,

от Конька-Горбунка, от Фредди Меркьюри и от Бога — и письма из армии у него были длинные и нежные, и на фотографиях он был красивый-красивый, даже с неправильно сросшимся носом, даже с подростковыми усиками в восьмом классе, даже с нечесаными патлами.

— Какая же ты, блядь, психованная! Психованная дура! Уебывай отсюда на хуй, пока я тебя не убил к чертовой матери!

Почему-то вокруг был вечер, темно-синий рынок, сваленная этажерка, осколки стекла и текущие лужи, пахнущие больницей. Ада вскочила, уронив табуретку, и побежала обратно — сквозь прилавки, рассыпчатый песок, траву и детскую площадку, спотыкаясь об оградку.

Она почувствовала, что улыбается, глупо и почти болезненно, впервые за два года. И руки — впервые за два года стали легкими, и Ада широко болтала ими в воздухе, почти не обращая внимания на взгляды прохожих.

— Где он? Почему он уехал? Он приедет? — спросила она с порога.

— Кто, Адушка? Где ты была?

Глупая, глупая мама — застыла у плиты со своим глупым половником и глупым котом в ногах.

— Гриша! Куда он уехал? Снова в армию? Почему он нам не пишет больше? Где его письма? Ты их скрываешь от меня?

— Ты не переживай, главное, Адушка. Давай я тебе чайку сделаю? Посидишь, успокоишься...

— Я не буду пить чай! Я не буду пить чай из разбитой чашки! Я порежу себе рот!

Мама растерла глаза руками — смяла лицо, как грязную салфетку.

— Сядь, пожалуйста.

— Я не хочу!

— Умоляю, Адушка. Гриша сейчас в другой квартире живет. Давай ты сядешь, а я ему позвоню. Он к нам приедет. Сейчас приедет.

Ада грохнулась на стул. Все было неправильно: обои в вензельках, напоминающих смеющиеся лица демонов, сотейник и сковородка на плите, оставляющие на дверцах кухонных шкафчиков матовые следы пара.

Мама ушла в большую комнату, к телефону. Звонить Грише, объяснять, куда приехать. Из приглушенной коврами и стенами речи Ада разобрала свой адрес.

Она встала к шкафам. Высыпала специи, вынула тарелки и чашки — и в каждой искала его письма: куда-то же мама должна была их спрятать?

Минут двадцать, не больше, — в дверь позвонили. Ада вскочила, выбежала и сразу упала в Гришины большие объятия, спрятала нос в широких-широких плечах — что Москва-река поперек. И Гриша пах так же, как раньше, — тяжелым мужским потом, сигаретами, зубным порошком, кремом для обуви.

— Простите, что поздно так, мне просто сказали звонить, если вдруг опять, — затараторила

мама. — Она таблетки сегодня не выпила, чашку разбила, испугалась...

— Выписки есть? — спросил Гриша.

— Ой, были где-то, подождите секундочку... Я ж собирала даже...

Ада врезалась носом в Гришину ключицу, вгрызлась зубами — не больно, ласково, не зная, как еще объяснить. Секунду спустя оказалась прижата спиной к чьей-то еще груди, с руками, заведенными назад. Обернулась — за ней тоже был Гриша.

— Вот, нашла, кажется. Простите, надо было раньше найти, я что-то не подумала даже... — продолжила мама. — Давно не было просто, сначала совсем ничего, а потом, как Гришеньку похоронили, так...

Глупая, глупая мама — какое похоронили? Гриши, двоящиеся, как отражения в стеклопакете, взяли Аду под руки и куда-то повели — и она чувствовала, что не будет больше никаких обоев, никаких половников, никаких взрослых разговоров, чашек и рынков — только наказанные обидчики, починенные игрушки, выпускные, крылатые качели и колокольчик — динь-динь-динь-динь-динь-динь.

* * *

— Да посмотришь ее, ну! Просто посмотришь. Она интересная. Ты психоз сам хоть раз видел? — Дверь хрипло, деревянно гудела и топала. — Только очки сними.

— Я без них ничего не увижу, — ответил кусочек стены шершавым тенором.

— Ладно, — буркнула дверь. — Голову береги.

Его выбросило в палату — длинного, в халате распахнутого, молодого — вместе с табачным запахом и шарканьем туфель.

— Гриша? — спросила Адушка, сев в постели резко, до цветных точек.

— Гера. Здравствуйте.

И как-то нежно у него это «здравствуйте» получилось, и как-то свет из окон лег ласково, и как-то улыбаться снова выходило. И улыбаться было прекрасно.

Вадим Сапер

Вадим сидел — острый, ершистый, ощерившийся. Опирался крепкими руками на стол, почти ложился грудью, разлинованной рубчиком водолазки. Гранкин и сам хотел бы так лечь: он еще не привык вставать в пять утра (да и невозможно было к этому привыкнуть) и тело клонилось к земле, будто корни вырвало ветром.

— Борщевиков Вадим, верно?

Вадим кивнул, и его голова, не завершив движения, осталась наклоненной.

— Меня зовут Герман Васильевич, я ваш лечащий врач. — Гранкин сел напротив, поправил сквозь халат ключ от палат и сплюснутую пачку сигарет.

— Пиздишь как дышишь, — выхрипел Вадим. — Студент ты, а не врач.

— Молодой врач, они бывают. А вы хотели бы, чтобы вас кто-то конкретный лечил?

Вадим поднял взгляд — вверх поехали брови и линия роста волос:

— Да мне плевать, на самом деле. Я ж не псих.

— Конечно нет. Кто вам такое сказал?

— Да мамка, кто. Ну, ты видел ее небось, она притащила. Но я думаю, она просто бесится, что я с работы свалил.

«Мать промелькнула», — подумал Гранкин. Но рано про мать. Нашупать бы хоть хлипенькое пространство адекватного разговора, чтобы не про «Слышите ли вы голоса?» и не про «Как давно вас преследуют?», а как-то по-человечески.

— А почему свалили? Не понравилось?

— Да треш просто. — Вадим откашлялся и продолжил громче: — Это типа включите траурный хардбасс для всех, кто устраивается на почту, прости господи, России. Ты сидишь весь в говне, потому что... ну знаешь такую пыль, которая в коробке пазлов остается?.. Вот ты в ней сидишь, потому там эта пыль повсюду. Картонно-бумажная такая, мерзкая...

Потом на тебя орет какой-то хер, потому что у тебя комп завис. Потом на тебя орет начальник, потому что не достача журнала «Тысяча советов дачнику». Потом на тебя орет бабка, потому что она бабка и ей, закономерно, не нравится быть бабкой. И платят типа... фантастическое нисколько. Ну я думаю: я, балин, свободный человек, на черта оно мне сдалось?

— А кем бы вы хотели работать?

Вадим заулыбался — круглыми маленькими зубами с широкими щербинками. Как пацаненок с полным ртом молочных, шатающихся.

— Думаю бизнес открыть. У меня вообще все получается.

— И что за бизнес?

Он проехался грудью по столу еще дальше, приблизив лицо:

— Ты никому не расскажешь?

— Что вы. Врачебная тайна.

— У меня один бизнес уже есть. Клуб с... девчонками, если шаришь. В Питере. Но там дела так себе идут в последнее время, нами копы заинтересовались, пришлось залечь на дно. И мне корешок один говорит, мол, Вэ — это меня так зовут там, в этих делах, Вэ, — раз у нас так хорошо идет с этим делом, можно и оружие продавать начать. И даже в даркнет куда-нибудь выйти. Ты знал, что в даркнете можно купить танк и тебе его по частям пришлют?

— Неужели? — почти прошептал Гранкин.

— Да, серьезно. Я, когда в «Почте России» работал, клянусь, лично выдавал такие посылки. Смотришь — вроде пакет обычный, только тяжелый. А прощупаешь — деталь танка!.. Но мы, конечно, танками барыжить не будем. Там надо завод строить, а у нас в кармане вошь на аркане. Но у меня на даче оружия целый склад. Я увлекаюсь. С Чечни начал. Я до того, как на чеченскую забрали, ни разу даже пневматического в руках не держал, от отдачи окосел, а потом привык.

Гранкин заглянул в карточку, сонно пересчитал год рождения. Две тысячи минус две тысячи... Нет, надо с конца...

— И сколько вам было лет, когда вы воевали в Чечне?

— Семь. Ты мне не поверишь сейчас, но да. Там и не такое творилось. Так вот, с тех пор я насобирав целый подвал этого добра в коллекцию, все рабочее, новое, а девать некуда. Тебе ствол не нужен? Скидку сделаю.

— Я подумаю — если что, напишу вам. А можно еще немного про Чечню? Как вас забрали? Если вам комфортно об этом.

— Ой, пффф. — Вадим откинул корпус на спинку стула, и тени ламп нарисовали совершенно новое лицо — пушисто-припухлое, девятнадцатилетнее.

В сияющее лето перед первым классом — лето, которое не знает, что оно последнее лето детства, и вообще мало что знает, кроме молочного супа и черепашек-ниндзя, — в квартиру, от ковров красную, как изнанка желудка, постучался дядька-мент. Ноги дядьки убегали к черте между зеленой и белой подъездной краской, дальше шло бочкообразное туловище, потом голова, совсем маленькая — лампочка Ильича под потолком.

— Ну что, Вадик, поехали?

Руки мента протиснулись в дверь, и маленький Вадим, весь в зубных пластинах, утащился в плесневую затхлость. Иногда казалось, что мент до сих пор держит — ветвистыми пальцами, узловатыми переплетениями сухожилий, как выползший из слива ванны ком длинных колючих волос.

В военкомате что-то спросили. Вадим выдал: Борщевиков, улица Ромашкова, десять дробь шесть, строение восемь, квартира пятьсот шестьдесят семь, я потерялся, позвоните маме: плюс семь, девятьсот шестнадцать... Дальше не слушали — попросили сказать «а», прочитать «Ш» и «Б», поглядели на зубные пластины. Врачиха — завивка, приталенный халатик, лицо в постоянном выражении легкого интеллигентского отворачивания — сказала: годен. Оплели пальцами. Повезли.

Форму Вадиму выдали самого маленького размера, но штанины все равно приходилось подворачивать много раз и у величайших ботинок волочились толстые камуфлированные шины. Ноги болтались в берцах, а коленкам мешала свисавшая до самых щиколоток куртка. В маленьких руках снайперская винтовка брыкалась и нещадно херачила отдачей прямо в костный мозг.

Окоп пах дождевыми червями и пацанячьим потрохом. Вадим в окопе лежал, как в постели с женщиной (пусть женщина у него появилась сильно позже) — совершенно не понимая, что делать. Таз каски сидел на носу, поэтому что-то разглядеть было невозможно и приходилось воображением дорисовывать красочные взрывы, палить куда придется, намазывать джем на галету пальцами вслепую и поздно понимать, что это паштет.

— Ну это я, короче, только в окопе страдал. Потом меня в саперы перевели. Потому что я был мелкий, руки ловкие, весу не хватит на mine

подорваться. И жизнь началась. Ты же знаешь, что это только в кино надо красный проводок перерезать?

— А в жизни как? — спросил Гранкин, не успевая записывать: «Чечня», «семь», «мент», «окоп».

— Подковыриваешь у мины крышку. А внутри — мазня какая-то, каша. Я тогда еще в школу не пошел, физику, сам понимаешь, не учил. Но я был удачливый. И до сих пор, собственно, удачливый. Смотрел на шоколадные яйца и третьим глазом понимал, в каком самая крутая игрушка... Ты это не записывай, слышь?! Третий глаз — это не реально третий, это образное выражение, а я типа интуицией чувствовал. От яйца с крутой игрушкой как бы тепло, к нему рука сама тянется. То же с минами. Ты просто понимаешь, что делать. Поэтому кто-то тридцать лет сапером работает, и ничего, а кто-то, как грицца, ошибается один раз. Талант нужен.

В кабинете Сергея Викторовича всегда было холодно. Окон он не закрывал даже в минус — мол, ему так лучше думается, — и в стылую морось улицы Гранкину иногда даже удавалось покурить. Если Сергей Викторович разрешал. И если Лидия Павловна точно не собиралась врываться.

— С Борщевиковым говорил? Как тебе? — спросил Сергей Викторович, морщась. — В окно выдыхай, Гер. Книги провоняешь.

Половина книг — древнящие учебники, используемые единственно для того, чтобы их

ругать, — давно были прокурены, другая половина — штук двадцать экземпляров «Вялотекущих и шубообразных» авторства самого Сергея Викторовича — так пахли типографской краской, что дым бы не перебил. К тому же маленький, по отношению к высоте потолка какой-то совсем дурацкий книжный шкаф стоял у противоположной стены. Но Гранкин все равно нарочито выдохнул в окно, укалывая нос длинными дождевыми каплями.

— Говорил. — Из-за дыма голос получился глухим как зевок.

— Параноидная шизофрения? Вот эти идеи. Про Чечню. Про мента. Говорил тебе?

— Не уверен, у него же... мышление как будто не нарушено. Не знаю, логические связи... Я почти уверен, что ничего за ним не достраивал.

— Ну смотри. Тебе отдаю. Тебе полезно. Ты в куртке, кстати?

— Что? — Гранкин обернулся, едва не свалившись с щербатого деревянного короба батареи.

— Спрашиваю, у тебя куртка в гардеробе? Или ты так пришел?

— У меня... свитер под халатом. Утром нормально было.

— А много тебе еще?

— Дневники написать.

— Давай в темпе. Подвезу до метро, а то съезишь. Погода — ни одного цензурного слова.

Ощутимо октябрьело. Гордость Гранкина была красивым словом, ничего не означав-

шим, — особенно когда свитер успевал потяжелеть и промерзнуть за десять метров от козырька до машины. Кирпич психиатрической клиники имени Свиристелева, как облизанный огромной собакой, стал темно-красным и глянцевым. И даже не так сильно кусало, что Лидия Павловна может сейчас выйти и заметить — в любимчиках, мол, ходишь, не стыдно?

— Спал сегодня? — Лицо Сергея Викторовича неоновое подсветилось приборной панелью.

Гранкин покачал головой.

— Спи. Адрес помню.

Гранкин тек дворами, переливаясь с куцых тротуаров на заросшие окурками клумбы, — в один из потайных карманов московского центра. Вокруг впечатывался в землю мокрый красный кирпич, желтый фонарный свет бликовал в многогранниках домов, небесная чернота сосала пальцы деревьев. Из клиники Свиристелева, нагибаясь, чтобы пролезть в дверь, вышел мент — тонкий, весь в форменной плащовке, сморщенной на орясилах локтей и коленей. Помахал и приблизился в несколько больших шагов.

— Гранкин! Вы ведь Гранкин? А мы вас жда-а-али! — высоко и мелодично сказал мент, протягивая руку.

— Только не забирайте меня в Чечню, — ответил Гранкин, осторожно пожимая жесткие хрусткие пальцы.

Мент рассмеялся — уголки его рта разъехались до самых ушей, и многозубье рта отразило свет.

— Чечня кончилась, глупый. Пошли. Пошли-пошли, Вадиму скучно.

Вадим был все там же — в коридоре, лежал грудью на столе. Впивался ухом в циферблат наручных часов.

— Что слушаете? — зачем-то спросил Гранкин, ощущая затылком холодное шуршание формы.

— Время, — с пафосом ответил Вадим.

Развернулся лицом, приложил другое ухо:

— Ты знал, что прошлое, вообще, так же изменчиво, как и будущее?

— Не знал. Почему?

— Ну смотри: будущее зависит от того, что ты вообще сейчас по жизни делаешь, так? Так. А прошлое... все думают, что оно, типа, куда-то уже записано, как в книжечку. Но книжечки нет. Нет книжечки. А свидетели там какие-то — ваще херня.

— Но ведь прошлое... прошло, нет? Я имею в виду, каким-то определенным образом.

— Ты мента видел? — Вадим дождался кивка и продолжил: — Чем докажешь?

По полу струйками, следуя стыкам плитки, полезла темнота, искря матовым плащевым блеском. Гранкин обернулся.

— Вставай, Гер. Приехали. — Сергей Викторович сжал пальцы на его плече, и мир вернул ясность: боль в стекшей по сиденью спине, визгливый неон приборной панели, свет лампочки над подъездной дверью.

— А, да... Спасибо.

Съемная однушка — у черта на коленочках, навсегда разложенный диван и пивные банки на всех горизонтальных поверхностях, перегоревшая лампочка на кухне и черная плесень в ванной. Гранкин упал, разувшись без рук, пятками. Вдохнул дом — пыль, пепел, особенную гольяновскую гниль, жареную курицу из забегаловки напротив, навязчиво напоминающую поесть.

Гранкин представил, как делает волевое усилие и выбрасывает тело на кухню варить гречку. Как несмело блестит серебром кастрюля. Как вода волнуется от капель пара со дна, собирающихся в упругие пузыри. Как зерна, напряженные от сухости, медленно расслабляются, разнеживаются, бухнут. Как они, чуть передержанные и чуть пересоленные, скользят по пищеводу, обнимая теплом. Как молочный суп с макаронами, оставленный в той законопаченной части детства, где он еще не странный. Где взрослое бытие-ствование предстает пока не набором невнятных дней, а россыпью несуществующих впечатлений, вспышками недостижимых эмоций о никогда не существовавших ситуациях.

Гранкину девять — никто еще не зовет его Гранкиным, фамилия в принципе ощущается инородной, приколоченной к груди на ржавый гвоздь. Гранкина не любят отсутствующие подвески на люстре, шершавые тканевые корешки, выступающие стыки пола, одноклассники, мама и кошка. На бежевых в легкую блеску стенах

пестреют Терминатор, Люк Скайуокер и Джеки Чан. За обоями хрустит и чавкает. Отец молчит, а мама бубнит неразличимо, суетливо, раздраженно. Тогда можно было уснуть, опустив руку под кровать (смотрите, монстры, не боюсь вас), и приснился бы Джеки Чан — даже когда дымилось в духовке что-то сожженное, а родители бросали друг в друга пепельницы, — снился Джеки Чан. А теперь только детство снилось. Обои в блеску. Всякая такая тоска, будто смешные сны как горки в луна-парке — вырос выше 150 сантиметров и не пройдешь теперь.

Мама говорила: «Вот отучишься, вот хирургом станешь, и тогда все что угодно, в своей квартире можешь хоть кровать не заправлять, хоть питаться этими твоими кириешками». Поэтому еще иногда снился доктор Хаус. Или сам Гранкин в костюме доктора Хауса — длинный халат по земле волочится, как шлейф невесты. А отец говорил, что Гранкин гинекологом будет, потому что только мужчины нормальные гинекологи, потому что на роду написано, — и снилось строение матки из учебника биологии за восьмой класс. Странно было, что матка сверху шире, чем внизу, поэтому она перевернутая ходила на фаллопиевых трубах и трещала шейкой, как гремущая змея.

Но Гранкин вырос, чтобы заниматься всякой чепухой, поэтому после неизбежных родителей снились пациенты психиатрической клиники имени Свиристелева. И всю ночь приходилось

ворочаться, разбираясь с дневниками, гоняться коридорами, поскользываясь пятками по намытому, выслушивать, как Сергей Викторович рубит: «Вот кандидатскую напишешь и питайся кириешками».

Будильник был неотвратим и отвратителен. Октябрющая морось, казалось, не проходила со вчерашнего дня и по дороге от дома до метро и от метро до клиники успевала наполнить нос соплями.

— У нас тут вообще очень уютная, безопасная атмосфера, — заверил Гранкин, стараясь проследить траекторию взгляда и закрыть спиной кусочек коридора, объятый безобразием.

Мама нового пациента — какое-то учительское было имя, Мария Ивановна, что ли, — нахмурилась:

— А это что?

В кусочке коридора, широко расставив и согнув в коленях ноги, свернув покатуую спину в напруженную створку ракушки, Вадим Сапер показывал нянечке, как стрелять из воображаемой снайперской винтовки.

— Смотри, значит... — Он выплевывал звуки юного голоса с нарочитой хрипотцой. — Тут ноги — самое главное. А вообще отдачи нужно не бояться, но знать, что она будет. Когда ты как бы заранее знаешь, она тебя сама боится.

Нянечка слушала чутко, мимически откликаясь на ударные звуки, — так влюбленные девушки слушают чушь приглянувшихся душнил.